

[Оглавление](#)

## **Лидия Волконская Прощай, Россия! (Моя жизнь) Глава 9. Мирное время**

Белое подвенечное платье, фата, цветы: как красиво, как бы это шло ко мне! Но, где-то я читала, от кого-то слышала, что современные, разумные, барышни не венчаются в этом, на один раз только нужном, наряде, который потом лежит на дне сундука, ветшая и занимая место; теперь они шьют на свою свадьбу обыкновенное, светлое платье или костюм, так всегда нужные и потом.

- Не сделать ли мне на свадьбу хорошее светлое платье, вместо подвенечного? Как ты думаешь, Валечка? Оно пригодится мне и потом.

- Конечно, конечно, - это очень практично, - согласился он.

Не заметила я тогда, не было ли разочарования в его голосе.

Потом я очень сожалела о моем скромном решении, так как мне казалось, что красивое, эффектное выступление в супружескую жизнь, оставляет впечатление на долгие года. Венчалась я с Валентином Михайловичем в новом, светлом платье, в нашей деревенской церкви, в присутствии любопытных мужиков, нашей семьи и еще кое-кого.

На свадебном обеде было много вина и папа произнес речь, в которой говорил о древности и знатности княжеского рода Волконских, по сравнению с которым наш род, хотя тоже старый, дворянский терял свое значение.

После свадьбы мы с мужем уехали в Варшаву и поселились в той же комнате с пальмой. Леля до ее свадьбы оставалась в Ромейках... Валентин Михайлович продолжал свою маленькую канцелярскую службу, которую он начал до нашей встречи, дававшую ему скудные средства для существования.

Мое лето в Варшаве в этой комнате показалось тесным и душным. Я задыхалась без солнца, без воздуха и с тоской мечтала о ромейском просторе, липах и луне, которых год тому назад "видеть не хотела". Скоро выяснилось, что я в положении. Когда подошла зима, я со страхом начала думать, что я буду делать с моим будущим ребенком в этой, непригодной для семейной жизни, комнате. Мне казалось вполне естественным в таком положении вернуться домой в Ромейки. Я стала упрашивать мужа. Но, какова бы ни была его служба, он ее оставить не хотел. В конце концов он согласился взять отпуск и, на время его, поехать со мной в Ромейки.

Там мы, чтобы никому не мешать, заняли большую угловую комнату, всегда пустовавшую. Вернулась я в Ромейки с таким чувством, как всегда, что это мой настоящий дома и, что я имею в нем постоянное место. Мне ни разу не пришло в голову, что теперь положение мое в семье иное.

Когда отпуск Валентин Михайловича кончился, и он стал собираться к отъезду, я начала плакать и просить его остаться. Не зная, что предпринять, мы обратились за советом к папе. Он, конфузясь, сказал, что по его мнению, мужу не стоит бросать службу, но добавил.

- Это ваше дело, и поступайте, как находите лучшим.

Я и думать не хотела о возвращении в Варшаву и принудила мужа остаться.

Ромейки тогда еще не оправились от перенесенного разорения. Но, несмотря на нашу большую семью, заняться их восстановлением и хозяйством было некому. Папины годы давали себя чувствовать. Братья мои одни были в гимназии, а другие готовились к поступлению туда. Володя во время нашего с Лелей пребывания в Варшаве женился на Наташе, дочери о. Иосифа. Взамен ковельского имения, он выбрал себе участок на окраине Ромеек, построился там и начал хозяйничать. Земля там, вопреки ожиданию, оказалась не плодородной. Володя долгие годы вел тяжелую трудовую жизнь, пока постепенно не выработал и не поднял качество пахотной земли. Преодолев эти трудности, он завел молочное хозяйство, начавшее приносить ему доход и позднее пасеку. В ней он работал сам, расширяя и добавляя каждый год новые ульи, которые делал собственноручно зимой.

Решаясь остаться в Ромейках, мы с мужем надеялись, что он может заняться ведением их дел и хозяйством. Но Валентин Михайлович, не зная агрономии, стеснялся предложить папе свои услуги. Папа тоже молчал, и мы решили отложить этот вопрос до весны, когда начнутся полевые работы. К тому же, после рождения нашей дочери, я так ушла в свои материнские обязанности и чувства, что ничего не видела и не слышала, что происходит вокруг.

Тем временем де Вассаль с Лелей, поженившись и прожив зиму в Варшаве, весной тоже приехали в Ромейки и поселились в гостинной, рядом с нашей комнатой.



Семейный портрет. Мишель да Вассаль с супругой Еленой (слева) кн. Валентин Волконский с супругой Лидией (справа)

Я так обрадовалась Леле, что целуя ее при встрече, чуть не расплакалась от избытка чувств.

- Что с тобой? - сказала она, слегка отстраняясь.

Мне это показалось странным.

- А Мишка, Мишка! - его я просто не узнала: официальный, сдержанный, не то обиженный, не то стараясь показать, что наши прежние отношения забыты.

Постоянные разговоры де Вассалья о его блестящих планах на будущее и проектах очень скорого разбогатения, привели к тому, что мы с мужем не догадались о причине его приезда в Ромейки и перемене отношения к нам. Оказалось, что его материальное положение было ничуть не лучше нашего. Не имея средства на содержание Лели и ожидаемого ребенка, де Вассаль решил, что выходом из этого положения будет устройство его управляющим Ромеек. Опасаясь, что Валентин Михайлович может стать ему на пути, он с первых же дней повел против его кампанию, подготавливая себе, таким образом почву.

Очень скоро я заметила, что, Мишка как бы соперничает с мужем. При малейшем удобном случае, возвышая себя с привычным ему апломбом, он одновременно всячески старается принизить Валентина Михайловича в глазах родителей, то какую придиркою, то намеком на что-то плохое, о чем муж не имел никакого понятия.

В нашей, не привыкшей ко лжи семье, простодушно верили всему, что говорилось.

Постоянная агитация де Вассалья в свою пользу повлияла на то, что постепенно все стали склоняться на его сторону. Ободренный, он повел еще большее наступление, выставляя Валентина Михайловича пустым светским человеком, испорченным с юношеских год и потерявшим остатки моральных устоев в годы гражданской войны.

Белую армию де Вассаль ругал более, чем Красную, с одной стороны потому, что в ней служил Валентин Михайлович, а с другой потому, что, отступая из Крыма, добровольцы забрали что-то у них в имении.

- Хорошо, - защищал их Валентин Михайлович, - ведь вам, как и всем было вполне известно, что через день или два, придут красные и не только заберут все до конца, а вас самим придется бежать, спасая жизнь.

- Ха, ха! Какие у тебя, извини, беспринципные понятия. Большевики, так на то они и большевики, всякий знает, что бандиты, ясно как апельсин. А эти считают себя белыми рыцарями, защитникам; так и защищай, а не грабь и удирай.

- И защищали до последней возможности, пока были силы и средства. А откуда их было брать?

- Знаем мы, знаем куда все шло, - на кутежи, да на девок.. Поэтому так все и кончилось у вас.

- А ты как будто бы и рад?

- Ясно как апельсин, по делам получили.

- Помилуй, да ты же из-за этого и сам без ничего остался.

- А ты не перекручивай все на свой лад. На меня твои выверты не действуют. Вспомни лучше, что сам ты там выделял, - победоносно смеясь, заканчивал де Вассаль, обводя всех торжествующим взглядом.

Но чем он особенно импонировал всем, так его рассказами о богатстве и благоустройстве в Крыму.

- Я же вырос, как вы, в деревне, а не в столичном городе, и вас отлично понимаю. Хотя смешно и сравнивать Ромейки с тем, что было у нас. Ясно, как апельсин, что я хозяйство знаю, как свои пять пальцев. Отец хотел, чтобы я поступил в агрономическую школу, ну и я, конечно... - здесь он обрывал и переходил, как бы случайно, на другую тему.

- И что же ты поступил в эту школу? - останавливал его Валентин Михайлович.

- А ты думаешь, что не поступил бы, если бы не война. Небось по ресторанам и балам не ходил. Флиртами не занимался. У нас в семье мораль строгая. Если кому дурь в голову лезет, то на то есть спорт. Меня и теперь никто в беге не перегонит.

И действительно, он часто упражнялся в беге к несказанному конфузу наших мужиков.

- Хая Бог боронит, як я злякался, коли перший раз зобачил, - рассказывал один из них, - бачу, бежит шось такое голое, без портков, без сорочки. Ноги и руки як у козла в шерсти (де Вассаль был волосатый) и топоче, дрыгая ногами, як козел. На голове косы стырчат, шо твои роги. Ни дать, ни взять - правдивый дьявол. Я в кусты; сховался.

Перехрыстывся... Чур меня, чур!.. ничего не помогает: бежит просто на меня; аж бачу - это человек.

Ромейцы без всякого смущения называли его "Рысак".



Де Вассаль старался вооружить всех не только против мужа, но и против меня. Ни Валентин Михайлович, ни я, никогда в жизни не встречались с чем-либо подобным и были не способны реагировать соответствующим образом. Обиженные мы молчали, так как заметили, что чем больше оправдываемся, тем хуже получается. Меня очень огорчало то, что муж мой не умел бороться против де Вассаля, самоуверенность которого действовала на него парализующе. Впоследствии я узнала, что это было в

характере моего мужа, он как-то поддавался, верил апломбу людей, как их настоящим достоинствам и силе.

Надеясь разрядить тяжелую атмосферу в семье, папа выделил три разных участка земли (таких же как и Володин по размеру) на окраине имения и отдал их каждой из нас дочерей в приданое. Центр оставался не тронутым и предназначенным в будущем для младших братьев.

\*\*\*\*\*

Однажды, Валентин Михайлович уехал на один день по делам в Сарны.

В тот вечер, завозившись долго с моей маленькой дочкой, я не заметила, что было уже поздно, а мужа все еще не было, хотя он должен был уже вернуться. Обеспокоенная, я пошла его искать. В кухне мне сказали, что лошади со станции давно уже пришли, а барин не приехал.

"Наверно задержался по делам", - решила я.

Утром, услышав шум подъехавшей к крыльцу коляски, я увидела через окно, вылезавшего из нее господина. Это был приятель мужа из Сарн.

- Не волнуйтесь, пожалуйста, - сказал он, когда я, полная недобрых предчувствий, выбежала ему навстречу.

- С князем случилась маленькая неприятность. Вчера вечером, торопясь на поезд, который уже стоял на станции, князь, перебегая запасные пути, не заметил в темноте, как подошел паровоз. Он оттолкнул князя. Успокойтесь, ничего плохого. Повреждена только ступня левой ноги; сейчас Валентин Михайлович в госпитале и просил вас, если можете, приехать.

Войдя в отдельную палату, где лежал муж, я увидела его без единой кровинке на лице с виновато-глянувшими на меня глазами.

- Валечка! - воскликнула я, подбегая к нему.

Он, стараясь улыбнуться, скривил лицо в мучительную гримасу.

- Прости, меня, прости, - сказал, - и если можешь... то есть, лучше будет тебе, если оставишь меня. Не связывай свою жизнь навсегда с калекой.

- Что ты говоришь? Валечка! И за что мне тебя прощать, разве ты виноват. Оставить тебя, да еще в несчастье...

Нога у мужа была ампутирована ниже колена. Доктора жаловались, что он ни за что не хотел согласиться на операцию до моего приезда, а это означало бы общее заражение крови. Им с большим трудом удалось его уговорить.

После того, как Валентин Михайлович вернулся из госпиталя, все приняли его с большим сочувствием. Сам он не указывал, по крайней мере наружно, большой подавленности.

Наверно сознание недавно пережитой и уже ушедшей смертельной опасности ободряло его.

Когда муж, сделав себе в Варшаве протез, вернулся, его и всеобщее волнение,

вызванное несчастием, улеглось. Де Вассаль, на время прекративший свои нападки, опять с новой силой возобновил их, вовлекая в это и Лелю.

Позднее мне муж признался, что не исключал возможности дуэли между ними.

Неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы новое несчастье не переменяло все.

В деревне Ромейки распространилась эпидемия дизентерии. Умирали главным образом дети. Целыми днями и ночами дрожала я над моей маленькой дочерью, полна самых мрачных опасений. В это время заболел и через несколько дней умер Лелин шестимесячный сынок. То горе матери, которое не раз представлялось мне в мыслях и которое постигло Лелю, так потрясло меня, что забыв и простив все, я подошла к ней, чтобы разделить ее горе. Я переживала тогда его, как свое личное. Всю жизнь потом я не могла слышать, вбиваемых в доски, гвоздей. Мне при этом вспоминалось, как наш столяр сколачивал ночью маленький гробик.

Мы снова близко, как раньше, сошлись с Лелей. Сначала я думала, что постигшее горе теснее свяжет Лелю с мужем. Оказалось наоборот. Она стала искать поддержки во мне. Она жаловалась, что не сможет оставаться с ним одна. Что муж ее, стараясь ее утешить, неустанно говорит о их сыночке, о его ангельской душе, о могилке и о ее украшении.

- Этим постоянным напоминанием, он разрывает мне душу, я не могу этого выдержать, - говорила Леля.

Дошло до того, что она стала избегать оставаться с ним наедине в их комнате, где все напоминало ей о ее горе.

Мы начали уходить с ней из дому и бродить по полям и лесу, чтобы забыться.

- Ты представить себе не можешь, до чего мне тяжело иногда бывает с Мишкой, - говорила она мне, - с ним невозможно вообще разговаривать: о чем бы ты ни начала - он переведет на себя; какой он умный, деловой, каких высоких моральных правил и поведения; а мелочный - выдержать нельзя. "Спички, - говорит, - должны лежать на ночном столике головками в ту, а не в эту сторону; когда ночью понадобится, то будешь знать, какой конец чиркать". Вообрази, кто о таких глупостях думать может? А раз совсем замучил папу: целый час хвастался, что у него сорок пар носков и какие на них полоски, крапочки и какие дырочки на пятках и, где-то там еще, которых я не хочу заштопать. Я, от стыда за него, не знала куда мне глаза девать.

- Чего ты от него хочешь? Не забывай, он француз. У них там в Западной Европе все меленькое, все на унции, да на инчи, так они привыкли, - компетентно утешала я Лелю. Впрочем, я редко защищала де Вассалья от ее нападков; во-первых, потому что соглашалась с ее мнением; а во-вторых, я не могла еще тогда забыть и простить его возмутительного отношения к мужу и ко мне и зла, которое он причинил нам.

"А у меня все как-то иначе, не знаю лучше ли? - думала я с грустью, слушая жалобы Лели, - Валя так редко говорит о себе, я даже не знаю, что он хочет, что ему надо. На одежду внимания не обращает, если и зашью какую дырку, то хорошо, а если нет, - то и так будет ходить. Хотя между нами и нет недоразумений и ссор, но это, наверное, потому, что нет и откровенности. Он не делится со мной его мыслями, огорчениями; все спрятано, вежливо, корректно. А я хотела бы ему все говорить, но теперь сама сдерживаюсь. А не лучше было бы спорить, даже ссориться, тогда все выходит наружу, выявляется и легче понять друг друга; а то словно преграда между нами стоит. Нет душевной спайки".

Когда я поделилась с Лелей этими мыслями, она сказала:

- Ты наверное это преувеличиваешь. Валентин очень гордый, - все это заметили; поэтому, он все переживает сам в себе, не желает показывать своих слабостей, скрывает опасения. А кроме того, он очень добрый и не хочет огорчать тебя напрасно всякими неприятностями, мелкими заботами.

- Да, ты это действительно правильно заметила. А все же со мной он не должен скрытничать. Я ведь ему не чужая.

Наступила осень. Леля со страхом думала, что ей придется опять засесть с Мишкой в одной комнате.

- Нет, я не выдержу, я лучше уеду, - говорила она.

И на самом деле, она списалась с ее подругой Ксенией в Варшаве, которая к этому времени была уже профессиональной балериной. Ксения пригласила Лелю к себе и обещала устроить ее танцевать в театр. Леля воспользовалась приглашением и уехала. Де Вассаль остался один в Ромейках и в глупом положении. Прождав напрасно месяца два ее возвращения, он отправился за нею в Варшаву. Там после долгих увещаний, он уговорил ее вернуться к нему. Уезжая из Ромеек, де Вассаль говорил, что откроет в Варшаве гараж, заведет несколько такси и постепенно разовьет это дело в большое предприятие. Но окончилось все тем, что он купил одну только "таксувку", на которой ездил в последовавшие годы сам. Жили они скромно в маленькой, но очень чистенькой и уютной квартире, где Леля по уши вошла в домашнюю работу и семейные заботы.

\*\*\*\*\*

Еще перед отъездом Лели в Варшаву, мы с мужем тоже уехали из Ромеек. Случилось это совсем неожиданно.

Князь Гедроиц, владелец Сворынь, часто приезжал в Ромейки. Он очень симпатизировал Валентину Михайловичу.

Кедронц был исключительно неумелый и непрактичный хозяин. Сворыни он довел до того, что там буквально нечего было есть. Не зная, как помочь беде, он попросту решил удрать оттуда в другое, тоже небольшое и тоже запущенное имение в Галиции, которое, вероятно, за время его отсутствия, немножко оправилось. Чтобы не бросить спорыни без всякого надзора, он предложил Валентин Михайловичу переехать туда со мной и заняться хозяйством. Вместо жалования - Гедроиц сказал, что мы можем пользоваться тем доходом, который Валентин Михайлович сумеет и сможет извлечь из хозяйства и жить на него.

Хозяйство же состояло из трех коров - скелетов, обтянутых кожей и двух пар лошадей, с трудом волочивших ноги. Ни те, ни другие ничего, кроме сечки из овсяной соломы, не получали. В амбаре пусто, выметено до последнего зернышка. В клуне только две фуры, купленной у мужика овсяной соломы. Поля истощены без удобрения и брошены. Несмотря на все это, мы были счастливы вырваться из создавшейся в Ромейках, невыносимой для нас обстановки.

С первого же дня муж с большим увлечением принялся за сворыньские дела. Неожиданно у него к этому оказались большие способности. Сразу же обратил внимание на принадлежащую имению паровую мельницу. Почему-то она очень редко шла и не приносила ничего, кроме расходов.

- В чем здесь дело? - старался отгадать Валентин Михайлович: На весь околодок две-три несчастных ветренных мельницы и когда ни едешь, они вертятся. Вчера возвращался поздно: ночь, темнота, ветра, кажись и нет, а ветряк, как черный великан-монах, машет крыльями, как бы рукавами. Двери внизу открыты, свет из них падает на подводы, нагруженные мешками. Мужики кругом толпятся. И это около полуночи. А здесь мельница паровая, ни с какой погодой не связана, стоит на бойком месте - перекрестке дорог, и ни один черт носа не кажет.

- Нет завоза, - объяснил ему мельник.

Вникнув в дело, муж узнал, что мужики не рискуют везти зерно на мельницу, потому что никогда не известно, пойдет она или нет: то окажется, что дрова для локомотива не подвезены, то мазута не хватает, то мельнику вздумается, куда-то отправиться по своим делам.

Кроме того выяснилось, что нужны небольшие починки, на которые Гедроиц не захотел выдать денег.

Когда Валентин Михайлович исправил все эти недостатки и переименовал плутоватого мельника, дело сразу пошло. Спустя несколько недель амбар был завален зерном, которым мужики платили на мельнице за помол.

Поправились лошади, коровы, завелись овцы, свиньи и прочая мелочь. На весну было много навозу. Удобрившись и засеялись поля. Хозяйство быстро стало развиваться. За три года, которые мы там прожили, Сворыни нельзя было узнать. У нас появилась отличная пара выездных лошадей и верховая мужа, которую ему подарил папа. Часто вечерами Валентин Михайлович ездил в Ромейки. Он советовался с папой и рассказывал, как у него идут дела. Я понимала, что мужу было приятно показать, как все под влиянием де Вассалья ошибались, считая его "никчемным". Его справедливая гордость была удовлетворена. Кроме того, он, по своему общительному характеру, любил вращаться среди людей. Я же наоборот не любила и не хотела никуда выезжать, погрузившись во всякого рода домашние дела, которые я, как сердито утвержда муж, сама себе выдумывала. Иногда по старой памяти я любила покататься верхом.

В один из золотисто-голубых дней осени, я, въехав во двор, увидела сидевшего на крыльце Гедроица. Смутившись от неожиданности, я осадилась на лошадь и хотела слезть около конюшни, но, заметив, что князь машет шляпою, подъехала к крыльцу.

Изысканно любезный, как всегда, он помог мне сойти с лошади и, здороваясь, с лукавою улыбкою сказал:

- Чего это вы прячетесь от меня? - но затем рассыпался в комплиментах.

Пробыл он у нас три дня. Валентин Михайлович с гордостью водил его по засеянным полям, расчищенным сенокосам, которые он отвоевал от мужиков, топтавших их раньше своим скотом, на мельницу, на скотный двор.

Гедроиц ходил, смотрел, молчал, делая вид, что никаких особенных перемен не замечает и уехал.

А через две недели муж получил письмо, что он с семьей собирается вернуться в Сворыни. Я очень испугалась, но когда муж по своему обыкновению поехал в Ромейки и рассказал папе о намерении Гедроица, папа, обрадовавшись, предложил ему переехать



в Ромейки и заняться их делами.

В Ромейках мы поселились во флигеле, где раньше жили Неревичи. Сразу после войны, папа продал Неревичу дешево, частично в награду за его службу, большой участок земли. К тому времени Неревич построился там и жил большим баринoм-помещикoм. С неутомимой энергией Валентин Михайлович принялся за порученное ему дело. Что было замечательно это то, что, не зная агрономии, он мог так успешно вести сельское хозяйство. Объяснялось это с одной стороны его общими способностями, а с другой, каким-то врожденным умением руководить людьми. Мужики и рабочие слушались его беспрекословно. Он умел не только заставить их работать, но и заинтересовать их. Память у мужа была замечательная, особенно на лица. Стоило ему раз кого-либо видеть, он уже помнил его навсегда.

-А, Иван Тарасюк! Здравствуй, брат, здравствуй. Ну что, построил свою хату? - спрашивал Валентин Михайлович, снимавшего перед ним шапку, мужика из какой-то далекой деревни.

- Неужто вы меня помятаете, барин? Я же только раз лет пять тому назад, был тут, куповал у вас дубок на хату, - удивлялся польщенный мужик.

Делал Валентин Михайлович все легко, просто и весело.

- Вы смотрите у меня, - говорил он мужикам шутя, - крадите где хотите, и делаете "шкoды", какие хотите, только не у меня. Я все равно поймаю.

И в самом деле, как бы ловко ни срубил мужик дерево в лесу, как бы ни замазал пень его грязью, и как бы хитро ни растащил отрубленные ветви по лесу, на другой же день Валентин Михайлович уже знал об этом, а еще через день, при помощи своих лесников, знал и кто это сделал. Если мужик признается и придет "помириться", то есть заплатит за "шкoду", - хорошо; но если будет отказываться, то Валентин Михайлович спокойно, без злости (он обладал большой выдержкой и терпением) подаст дело в суд. А там он умел так ясно обставить дело, что почти никогда не проигрывал.

Адвокаты-профессионалы удивлялись этой его способности. Благодаря всему этому, мужики не рисковали входить с Валентином Михайловичем в какие-либо конфликты. Стоявшие близко к нему, бывали часто ему преданы. Некоторые не любили, но боялись и уважали его все.

К своим близким и друзьям он был исключительно лоялен.

- Валя, - говорила я порой о каком-нибудь его приятеле, - как это ты его защищаешь, он так нехорошо поступил.

- Что значит нехорошо, или хорошо? - приятель он мне или нет? - приятель. Ну, так - как же я могу его не поддержать.

Но, когда Валентину Михайловичу случалось столкнуться с человеком враждебным к нему, то он терялся, точно не понимая его и старался всеми способами избегать.

Под управлением Валентин Михайловича хозяйство Ромеек начало быстро развиваться. Как когда-то Неревич, так теперь Валентин Михайлович проводил все вечера в большом доме в разговорах с папой.

Я же счастливая, что все, так мучившие меня, враждебные отношения в семье кончились, что мы с мужем приобрели, как я думала, постоянный дом и обеспеченное положение, еще с большим увлечением чем в Сворынях занялись домашними делами. Флигель наш, стоявший немножко в отдалении и под прямым углом к большому дому, был точная, но уменьшенная его копия. Когда его отремонтировали и приделали, по моему рисунку, красивую веранду, вокруг которой я разбила цветник, то наш дом

оказался красивее запущенного большого. Внутри я украсила его картинками, которые специально для этого писала.

В нашем флигеле, кроме нас, жил еще один эмигрант-генерал. Он был одним из организаторов той украинской флотилии, с которой Валентин Михайлович ушел из Киева в Польшу. Вскоре после того как мы переехали в Ромейки, генерал обратился к Валентину Михайловичу с просьбой его приютить. Попросив позволения у папы, мы поместили генерала в двух отдельных комнатах нашего дома.

Мои домашние работы и занятия представлялись мне очень важными, требующими скорого исполнения. И не успевала я кончить чего-нибудь одного, как появлялись новые неотложные дела. Я научилась вязать, вышивать и немало времени отдавала заботам об одежде; но не потому, что всегда любила хорошо одеваться, а потому, что муж мой, мне казалось, всегда сравнивал мой вид и наружность с другими женщинами. Меня это обижало.

"Не могу же я быть моложе и красивее всех на свете, ведь если любит по-настоящему, то не за это", думала я с болью.

Домашние заботы и дела так заполняли мое время и мысли, что я не заметила, как муж постепенно стал отходить от меня. Я привыкла и мне казалось понятным, что его целый день нет дома: то он во дворе распорядится, то верхом на лошади объезжает поля, то в лесу, то на охоте, а вечерами всегда у папы. Но последнее время я заметила, что не только дня, но почти одного часа не бывало, который он провел бы дома со мной.

- И где это ты пропадаешь, Валя? Я никогда тебя не вижу, - наконец спросила я его.

- Не знаешь где? Днем в поле на работах, а вечером надо обо всем с папой посоветоваться. Да не задерживай; прикажи обед подавать, скорей, скорей. Мне некогда. Да, кстати, где мои рубашки? Не могу найти. Дай мне чистую, - нетерпеливо бросал он.

- Хорошо, я тебе достану, когда вернешься с поля, - удивляясь необычности его просьбы, ответила я.

- Да нет. Мне сейчас надо. Не могу же я ходить грязный, как шмаровоз, - сердито добавил он.

"Удивительное дело, - думала я, - и что это с ним сделалось. Утром же одел чистую и она еще вполне хороша. Раньше, бывало, никак с него рубашки не стянешь, будет ходить в одной, пока скандала не устрою. А теперь только то и делает, что меняет их, волосы помадит и даже часто нос пудрит".

И так завелось каждый день. Не успеваешь войти в дом, как кричит:

- Обед готов? Скорее, скорее! - и проглотив исчезает.

По утрам муж вставал рано, я много позже.

В то утро, проснувшись, я продолжала лежать, освобождаясь от впечатлений тяжелого сна.

Сквозь щель в слегка колыхавшихся портьерах, пробивался луч солнца и, отражаясь от зеркальца на туалетном столике, прыгал "зайчиком" по потолку. Машинально следя за его игрой, я припоминала: "Какой это день сегодня? Да, воскресенье, и видно чудесный день. Хорошо бы собраться всем вместе и поехать на пикник на реку и выкупаться. Все поехали бы с удовольствием. Володя только безнадежный. Настоящий медведь сделался. Сидит там у себя на пасеке и никуда его не вытащишь. А Валя? Какой-то он теперь странный: взгляд отсутствующий, словно ни меня и ничего кругом не видит; молчит, курит, куда-то торопится".

Все время, пока я так лежала и обдумывала план дня, через две приоткрытых двери соседней и следующей за нею видно было Валентина Михайловича. Он сидел за письменным столом и что-то быстро писал.

"И что он может так долго и так много писать так рано?" подумала я.

Минут через пять, не то кто-то его вызвал, не то он сам вышел.

Сорвавшись с кровати и, пробежав в его кабинет, я прочла на оставленном, мелко исписанном листке бумаги:

"Звездочка моя!

Буду ждать тебя, как всегда, на нашем месте в конце сада. Когда услышишь выстрел, выходи. Если бы ты знала, как я..."

Словно что-то ошеломляюще больно ударило меня. Мысли оборвались, спутались и, как бы боясь увидеть то страшное огромное, что ударило меня, я, оторвавшись от письма, бросилась назад и дрожа, и не понимая, что случилось, зарылась под одеяло, точно стараясь спрятаться от надвигавшегося на меня несчастья.

Потом видела, как вернулся Валентин Михайлович, что-то дописал и, взяв письмо, вышел.

Во время чая, я подавленно молчала. Он занятый, как всегда последнее время, своими мыслями, не замечал меня.

"Что же это такое может быть? Здесь же некому писать любовные письма, положительно некому. А все же я видела это, читала... наверное," - не в состоянии понять и поверить, думала я.

За годы нашей совместной жизни я привыкла думать, что все наши дела, стремления, заботы, радости и горести - все общее; и они были такими. Но я не отдавала себе отчета, что несмотря на это и кроме этого, у каждого из нас могли быть отдельные, свои личные мысли, желания, чувства. Я ошибочно считала, что они тоже у нас общие. Теперь, не в силах отделить себя от него, я с прежней доверчивой откровенностью, обратилось к нему.

- Валечка, - сказала я, войдя в его кабинет, - я утром прочла начало твоего какого-то письма...

Он испуганно глянул на меня.

- Скажи, что это за письмо? Кому ты его мог писать?

Он молчал.

- Скажи же, зачем ты его писал и для кого? Ну скажи!

Он продолжал неловко молчать, что-то думая.

- Валя, ты же, я верю, всегда мне все говоришь. Я твоя жена и тебя люблю, - продолжала я ласково, дотрагиваясь до его руки и желая погладить ее. Он дернул ее, но потом оставил. Заметив его первое движение, я отстранилась.

- Марусе, - сказал он тихо, глядя куда-то в пространство.

- Марусе?.. ты... ты правду говоришь?

- Да, Марусе, - бросив на меня холодно-любопытный взгляд, подтвердил он.

- Это же невозможно, она же сестра моя, - сказал я и, несмотря на холод, веявший от него, почувствовала как бы облегчение. - Ты же ей как брат, разве может она смотреть на тебя, как на мужчину? А кроме того, она такая, такая не... - я хотела сказать "неинтересная".

- Какая же она "такая"? - не давая мне кончить и, глядя вызывающе, спросил он.

Вся съежившись под этим его взглядом, я робко произнесла.

- Я... я ничего плохого не хотела о ней сказать. Я только не понимаю. Для меня муж не только сестры, но и подружки, как брат. Я бы ни за что не смогла. Мне это, как святотатство кажется.

- Не осуждай ее. Она не виновата. Это я... я. Она боролась всеми силами против меня. А я начал вовсе не думая, что это так может кончиться, - говорил в волнении Валентин Михайлович, стараясь оправдать мою сестру, очевидно не только в моих, но в его собственных глазах.

- Раз, - продолжал он, - проходя, я заметил, как она насупившись, что-то ковыряла. Мне она показалась такой забавной, что я, шутя, бросил в нее цветок. Она даже не взглянула. Следующий раз, я опять так сделал. Меня это смешило. Потом я каждый раз, проходя, бросал в нее цветок. Она делала вид, что не замечает. Наконец. Раз сказала: "Оставьте меня в покое, а то я скажу Лиде". "Говорите, - сказал я весело, - она ничего против иметь не будет". И я продолжал мою, как я думал, невинную игру. Но раз она подняла цветок. Мы разговорились. После этого мы часто стали разговаривать по-дружески. Чем дальше - то больше. Я не заметил, когда и как это началось, что я увлекся, - закончил он.

- Валя, Валя, что же теперь будет? - горестно сдвигая брови спросила я.

- Не знаю. Ты обожди. Это пройдет. Со всяким может случиться.

- Мне это очень, очень больно. Я не... не могу, - всхлипывала я.

- Потерпи. Я это кончу, недели через две. Знай только одно, что тебя я никогда не оставлю, - смягчаясь, сказал он.

Потянулись мучительные для меня дни. Я с трудом заставляла себя продолжать обыденный порядок нашей жизни. Прошли назначенные им почему-то две недели. Никаких перемен в Валентине Михайловиче я не замечала. Каждое утро я видела, как он брал бумагу и карандаш и уходил куда-то писать. Каждый вечер, до поздней ночи, он оставался в большом доме после того, когда все уже там расходились по своим комнатам. Каждый раз я слышала выстрел за садом и видела Марусю, сбегавшую затем со ступенек крыльца.

- Валя, я так дальше не могу, - сказала я не выдержав, - лучше я уеду. Не буду тебе мешать. Так будет лучше и тебе и мне и всем...

- Еще что выдумала! И куда это ты поедешь? Да у меня все уже там кончается, - говорил он, не глядя на меня.

И постоянно, когда я пробовала говорить с ним, он обрывал, говоря, что его увлечение уже проходит. И странно, несмотря на то, что это всегда оказывалось неправдой, я, когда он был около меня, и так говорил, почему-то верила ему и на время успокаивалась, наверное потому, что в эти минуты он и сам верил в то, что обещал.

А между тем, он становился все более раздражительным, нервным, похудел, начал придирается ко мне - к каждому моему слову и поступку.

- Если ты требуешь, (я не требовала, я только жаловалась, что 15-20 минут на обед или ужин недостаточно и, что он никогда не бывает дома) - если ты требуешь, чтобы я все время сидела дома, не выходил во двор, не ездил на поля, не говорил с папой, - то, как я могу продолжать мою работу; я должен буду ее оставить, а тогда что? И, помни, не вздумай жаловаться кому-нибудь на меня и на "нее", если не хочешь, чтобы все это кончилось трагически; - заявил он мне, однажды.

Я очень испугалась и решила как можно дальше от него отойти и предоставить все времени.

В моем одиноком горе я нуждалась в сочувствии, совете, моральной поддержке. Но угрозы мужа и страх какой-то трагедии, на которую он намекал, не позволяли мне ни к кому обратиться.

Единственно, где я могла найти забвение и моральную силу, это была живопись, и ею я решила заняться. С этим была связана и маленькая надежда: я наивно думала доказать мужу мое, как я верила, превосходство над "его" Марусей, которая кроме кухни ничего не умела и не знала. Не желая связывать себя с моделью, которую вообще было бы трудно найти; я начала писать на большом полотне, почти в натуральную величину, свой автопортрет. Изобразила я себя почти обнаженной; обвивавшая меня шаль прикрывала только грудь и бедра. Я сидела на разостланном на полу ковре. Фоном служил другой, как и первый, восточного типа, ковер.

Никогда раньше и никогда потом, я не написала ничего лучшего. Это была моя лебединая песня. Через несколько лет мне пришлось вообще оставить живопись, что тяготило меня, постоянно, как неисполненная обязанность.

Работа над картиной заняла больше месяца и так захватила меня, что я почти совсем забылась. Когда кончила и опомнилась, я почувствовала, что отношения между мужем и Марусей не только не прекратились, а наоборот зашли еще дальше и параллельно с возрастающим чувством Валентина Михайловича к ней, возрастала его неприязнь ко мне. На мою картину он и не посмотрел. Валентин Михайлович вообще не любил и не понимал живописи.

Мое мучение, которое он, конечно, видел и понимал, вызывало в нем возмущение. У него появилась потребность обвинять меня в том, в чем сам нередко был виноват. Я догадывалась, что этим он бессознательно хотел оправдать себя перед самим собой и заглушить угрызения совести.

Несмотря на все это, мои просьбы о разводе или, хотя бы неофициальном разрыве, он категорически отклонял.

- Дальше так жить нельзя, невозможно. Это мучение и для тебя и для меня. Если ты ее любишь, то разойдемся. Я не хочу тебя связывать, никак, ничем. Совсем, совсем не хочу. Я согласна на какой хочешь развод. Мне все, все равно, только не мучай меня, - преодолевая боязнь, которую я стала чувствовать перед ним, просила я его.

- Кто кого мучает, я тебя или ты меня? Оставь меня в покое, или я не выдержу, брошу все и уеду, или пушу себе пулю в лоб, - прерывал он меня злобно.

"Уйду, хоть на один день уйду, все равно куда лишь бы дальше, дальше из опротивевшего мне дома", решила я после одной из сцен. "Уйду так, чтобы никто не видел куда и когда; пусть и он побеспокоится, где это я и что со мной. - Может одумается".

Незаметно, я вышла из дому и направилась, сама не зная куда. Очутилась в лесу. - "Здесь никто меня не увидит", - подумала, опускаясь на мох.

Чувство одиночества, ненужности, отброшенности, охватило меня. Наплакавшись, начала думать в сотый раз все то же и то же.

"Что мне делать? Уехать, куда, в Варшаву, в прежнюю комнату с моею дочкою. Да она там без воздуха, без света и нормального питания погибнет. Да и комната уже наверно занята. А деньги на жизнь откуда? Папе не скажу - боюсь Вали. А сама я совсем не знаю, как и где их доставать, как зарабатывать. Все Валя, он обо всем этом думает. Как мне жить без него? Я и не хочу с ним расходиться хотя и предлагаю, но в душе не могу поверить, что он согласится. Сначала я думала, что чем меньше его буду стеснять, тем

скорее он вернется ко мне и наоборот, я вызову в нем желание разрыва, если буду настаивать на своих правах жены и требовать... чего? Любви? А разве можно требовать любви? Разве это от нас зависит? Разве мы можем заставить себя любить того, кого не любим, и наоборот; чем Валя виноват, что любит Марусю, а не меня. С первого взгляда он не любил меня. Даже познакомиться не хотел. Это я его принудила, я завлекла. Теперь должна расплачиваться".

Почувствовав себя виноватой, я униженно продолжала размышлять: "И за что он может любить меня? И некрасивая и неумная. Умная наверное нашлась бы как поступить в подобном положении. А я какая-то робкая, и странная. Ничего в жизни и людях не понимаю. Не разбираюсь, что они думают, чувствуют, даже как выглядят. Иногда, когда меня спрашивают, кто как был одет, я молчу, так как не заметила. О человеке создается, какое-то общее, почти отвлеченное представление. Даже вот Валя. Разве я его знаю? Разве я когда-нибудь задумалась над ним, над его личными желаниями и чувствами? Нет. Я только ему о своих говорила. Недаром он мне как-то сказал: "Ты полюбила меня, когда я был здоровый и счастливый, а она, когда я вот такой, без ноги". Подумала ли я когда-либо, как это ему тяжело.

А Маруся, знаю я ее? Добрая она, злая, умная? Даже наружности, кажется, ее не знаю. Она наверное красивая, а я думала, что нет. Одевается как?"

Я стала припоминать, какую я ее видела, когда она сбегает с крыльца на свидание.

"Платье у нее синее и идет ей. Не то что - вот это мое пестрое. Я и причесаться и одеться к лицу теперь не умею. Куда девалось мое все... похудела, подурнела.

Но нет, она красивая теперь потому, что счастливая и любимая, а я такая потому, что он ненавидит меня уже за одно то, что я существую и мешаю ему. Лучше мне было бы умереть. Вот если бы выползла сейчас змея и укусила меня"...

Я пугливо оглянулась на полусгнивший пенек, с глубокими, черными норами между его, выступившими из земли корнями; на кучу струхлевших ветвей, прикрытую растопыренными, как лапы, зубчатыми листьями, пробивавшегося папоротника и, почувствовав холодную влажность мха, на котором лежала, я все же встала и перешла на более сухое и чистое место.

День и мысли, сливаясь, тянулись, тянулись мучительно долго.

Наконец, последние лучи солнца, прорвавшись между стволами деревьев, осветили красными полосами лес и, постепенно сжимаясь угасли.

"Не пойду домой. Не вернусь. Останусь здесь целую ночь. Поневоле должен будет подумать, какая я несчастливая. Надо же иметь немножко самолюбия, защищаться, хоть так, если не могу и не умею иначе".

Сумерки сгущались. Какие-то шорохи почудились, словно что-то таинственное и страшное, что пряталось при свете дня, стало выползать из глубины и охватывать лес. Испугавшись, что "оно" надвинется и поглотит меня, я встала и не отряхнув, прилипших к моему платью, листьев, быстро направилась по дороге из лесу, задерживая пугливое желание бежать и оглядываться.

Подойдя к дому, я увидела горевший у нас в столовой, свет. Беспокойство томило меня.

Незаметно я прошла в соседнюю к столовой, неосвещенную, комнату. Через приоткрытую дверь увидела, сидевших за столом, генерала и Валентина Михайловича.

Он, с горящим лицом и бегающими глазами, неприятно громко выкрикивал:

- Она просто сумасшедшая, какая-то дикая ревность, ни на чем не основанная.

Выдумывает, без всякой причины, какие-то с моей стороны измены. Вечные драмы,

сцены упреки. Я просто не в силах больше все это терпеть.

Генерал, которому он обращался, ища сочувствия, что-то смущенно и неразборчиво мычал.

Внутренняя, холодная дрожь, охватила меня.

"Боже! Как несправедлив он ко мне, как ненавидит. Он сам теперь ненормальный, а меня обвиняет в этом. Он словно в жару, он бредит, он болен..."

Боясь его боли и моей, я, незамеченная ими, вышла из комнаты. Какое-то оцепенение нашло на меня: спокойно я прошла в кухню, сказала горничной подавать без меня к столу, сделала нужные распоряжения и, вернувшись в свою комнату, разделась и легла в постель без слез, без сил, без надежды.

Постепенно втянувшись и привыкнув к этой моей безотрадной жизни, я молча тянула ляжку, незаметно для себя, запуская дом и все наше житейское устройство. Все приходило в упадок. Многие вещи мне казались ненужными. Я раздавала их. Другие портились, раскрадывались прислугами.

- Настка, ты не видела, где барина серебряный портсигар? - спросила я равнодушно.

- Яки посахар? Шо то таке посихар? Не знаю, не бачила, ей богу не бачила.

- Как же это ты не бачила, если всякий раз стираешь пыль со стола, где он лежал?

- А на шо вин мне сдался, хоба я куру? Лопни мои глаза, коли я его бачила. Ма будь барин загубил; чиж вы не бачите, яки воны теперь задуманные. Все знают, ко оны с барышнею Марусею... - она прервала, быстро заморгал глазами.

Оказалось, тайна, которую я так мучительно хранила, давным-давно была всем известна.

\*\*\*\*\*

"Уже после одиннадцати, а Вали все еще нет. Теперь она там, с Марусей. Я это знаю и сижу здесь так одна и думаю и думаю. Нет, лучше пойду на двор. Освежусь, перестану думать, ожидать".

Отложив вязание, я вышла на крыльцо. Было так темно, что даже небо нигде не просветлялось. С черным шумом качались деревья. Сойдя ощупью со ступенек крыльца, я остановилась. "Наверное будет гроза", подумала я. Где-то, на краю бурчало небо и по нем пробегали порою зарницы. В окнах большого дома нигде уже не светилось. Я хотела вернуться, но в это время двери в большом доме открылись, и освещенный из них слабым светом, на крыльцо вышел Валентин Михайлович. Мне вдруг пришло в голову: " вот он сейчас войдет в наш дом и увидит, что меня нет. Пусть подумает тогда в каком я душевном состоянии, если брожу, как бездомная, одна в такую ночь".

Торопливо, стараясь не производить шума, я начала пробираться в сад. Закутавшись, в захваченную мною шаль, я села там на землю, прислонившись к стволу ближайшей яблони, готовая просидеть так, хоть целую ночь. Неожиданно и очень скоро послышались знакомые мне, неровные шаги мужа и его тревожный голос:

- Где ты, Лида, иди домой!

Я молчала, притаившись. Слышно было, как он пошел, в одну сторону, потом в другую, затем вернулся. Постоял. Опять позвал меня. Зов его становился все тревожней и тревожней. Меня это волновало, но горечь обиды не позволяла отозваться. "А что если рассердится и уйдет? Гроза надвигается и мне так страшно будет здесь одной", подумала я.

Валентин Михайлович близко прошел мимо меня. Представляясь, что не могу сдержаться, я придушенно кашлянула. Он кинулся ко мне.

- Боже мой! что ты здесь делаешь? Как ты так сидишь? Вставай, вставай. Бедная ты моя; простудишься. Идем домой, идем скорее. А руки как лед, - говорил муж, заботливо помогая мне, подняться.

Мы шли рядом смущенно и молча; он отыскивал дорогу, я близко к нему, но чуждая, одинокая. Сердце ныло от придушенных чувств, от скрываемых дум.

Дома он заставил меня выпить горячего чаю с вином и тихо сказал:

- Не делай этого больше, слышишь? Все это у меня кончается. Поверь.

Сколько раз он говорил мне так, - и всегда это была неправда; сколько раз я верила ему, - и всегда ошибалась.

За утренним чаем, он был заботлив и внимателен ко мне, но под конец заволновался, заторопился, и я знала куда и к кому.

Вскоре однако, в его отношениях ко мне, я стала замечать большую перемену. Он перестал ко мне придирааться, не так поздно засиживался в большом доме, и я припомнила, что давно уже не слышала выстрелов за садом.

Спустя некоторое время, Леля мне сказала, что Маруся нездорова; она сильно похудела и ее мучил сухой, неотвязчивый кашель. Опасаясь, что это может быть начало туберкулеза, родители отправили ее зимой на курорт в горы, куда мне было поручено ее отвести.

После отъезда Маруси, Валентин Михайлович не выразил сколько-нибудь грусти, а наоборот, успокоился и, заставляя меня усиленно питаться, внушал, что с ним дома я должна быстрее и лучше поправиться, чем Маруся на курорте.

Когда, месяц спустя, Маруся вернулась, их прежние отношения, мне казалось, не возобновились.

\*\*\*\*\*

Летом генерал пригласил в Ромейки еще третьего представителя той украинской флотилии, к которой он и Валентин Михайлович принадлежали раньше, - Святослав Шрамченко.

Святослав был убежденный приверженец украинского национализма, вдовец, лет на пять старше Валентина Михайловича, он и по своей наружности и по характеру, очень располагал к себе. Волосы у него были волнистые, русые; брови, широкие и густые,



немного прикрывали, затаенные под ними, серые глаза; черты и выражение лица мягкие, приятные и сам он, никого не осуждающий, никому не приносящий неприятности, был тихий и добрый.

В России Шрамченко служил некоторое время в каком-то торговом флоте. Чин офицера и красивый мундир моряка произвели на него неизгладимое впечатление: он всю жизнь придерживался этого вида. В Ромейках Шрамченко носил всегда морскую форму. Чтобы придать ей и себе больше стиля, он никогда не выпускал трубки из рук, если не держал ее во рту слегка попыхивая. Над его белыми штанами и синим блейзером, украшенном всякими нашивками и значками, над этим его "морским" видом у нас в Ромейках слегка, но добродушно, подшучивали.

Что касается его украинства, то мы думали, может быть, ошибочно, что оно ему было выгодно: как украинец, он сразу выделился среди других, получил чин капитана и вообще становился на виду. Будучи же русским, незначительным офицером, он затерялся бы в общей их массе, и ничего заметного из себя не представлял бы. В Ченстохове у Шрамченко была хорошая, на эмигрантские условия, квартира и небольшая бухгалтерская служба в одной торговой фирме.

Генерал не скрывал, что пригласил он Шрамченко с задней мыслью, выдать за него Марусю. Когда она об этом узнала, то возмутилась и заявила, что она его видеть не хочет и к нему не выйдет.

Однако, ей поневоле пришлось с ним познакомиться, встречаться и разговаривать. А когда, спустя некоторое время, он вторично приехал в Ромейки, то дело кончилось их свадьбой.

После нее, Маруся с мужем уехали в Ченстохову.

Наша жизнь с мужем приняла формы обыкновенные, у большинства супружеских пар, которых судьба, или воля Божья назначила идти одной дорогой. Мы шли рядом, разделяя заботы жизни, ее радости и горести. Мы шли иногда в ногу, иногда нет, то сталкиваясь, то сближаясь опять, но в глубине души каждый хранил, что-то свое личное, сокровенное и неведомое другому.

И как может быть иначе? Разве возможно мыслить мыслями даже самого любимого человека, чувствовать его чувствами, желать его желаниями, любить то и того, что любит он. Часто это не совпадает, а даже идет в разрез. Разве возможно, вообще, войти в душу другого, понять ее и познать, если и самих себя мы не знаем.

## [Глава 10](#)